

Николай Божков

Сказы хутора Сторожевое

Николай Иванович Божков родился спустя два года после окончания Великой Отечественной войны на небольшом хуторе в нескольких километрах от поселка Прохоровка, около которого в июле 1943 года состоялось грандиозное танковое сражение, которое считается одной из крупнейших в военной истории битв с применением бронетанковых сил. Ему было уже за пятьдесят, когда он начал записывать рассказы односельчан и свои детские воспоминания.

Это был его долг перед матерью, которая до последнего дня надеялась, что в один прекрасный день приедет из Москвы писатель, который опишет, что испытали люди, по чьим в самом буквальном смысле домам и дворам прокатилась страшная машина войны, и какую жизнь им, жителям хутора Сторожевое, довелось прожить. Она умерла, никого не дождавшись. И тогда сын ее, Николай Иванович — работник народного образования, ставший к тому времени фермером и пасечником, — понял, что никто и не приедет. Никогда. И если ему дорога память о прошлом родины — то надо записать все самому. Так фермер стал писателем.

Картошка

В июне 1942 года, после боя, немцы пошли в наступление. Фронт, после длительного стояния по линии хутор Сторожевое — Прохоровка, покатился на восток в сторону Воронежа. Канонада еще не стихла, когда хуторяне, большая часть которых в это время ютилась в Прелестненских хуторах, стали думать о возвращении в свои хаты.

Моя мама, с дядей Тимой, которому исполнилось тогда пятнадцать, пошли в разведку. Среди солдат, поселившихся в доме моего деда Павла Николаевича, оказался совсем молоденький немченоч, такой же рыжий и голубоглазый, как и Тимофей. Он сразу подошел нему и спросил по-русски с акцентом.

— Как тебя зовут?

— Тимофей Павлович.

— Я Ганс, по-русски Иван, — представился он и протянул руку.

Потом, заглядывая в немецко-русский разговорник, начал шеголять русским языком, выдавая фразы, типа: «Школько километров до Сталинграда?» Говорил, что знает способ, как на войне оставаться живым.

— Мой отец сказал, чтобы я не стрелял в людей. Я буду стрелять вверх, —

показал он, направив винтовку выше Тиминой головы, — и вернусь домой живым.

Потом он произнес целую речь, в которой предлагал Гитлера и Сталина столкнуть лбами, а всех солдат отпустить по домам.

Подразделение, где служил Ганс, впервые попало в прифронтовую полосу, в боях не участвовало и, на тот момент, еще не озверело. Так что жители вернулись домой спокойно.

Этот Ганс оказался деятельным типом. Ясли в сарае — корову немцы быстро съели — он переоборудовал в подобие унитаза и тут же обновил. Тимофей увидев это, побежал к маме сообщить, что немец роется в коровьих яслях. Дело в том, что к приходу немцев народ готовился, и все самое ценное зарыли в землю. Полиэтилена тогда еще не знали, поэтому вещи старались прятать под крышей. Бабушкин сундук был зарыт как раз под яслями и то, что там оказался люфт-клозет, спасло его от разграбления. Голодной зимой 1942 года большинство уцелевших вещей поменяли на хлеб, но вещи фронтовиков, их парадные гражданские костюмы, хранились в неприкосновенности до Дня победы, до возвращения героев. Сберегли и приданое моей бабушки, где были нарядные вязаные наволочки, подузорники, вышитые крестиком праздничные самотканые полотенца. Теперь их берегут уже правнучки. Сохранился и чемодан с документами, довоенными фотографиями и другими бумагами.

Ганс был неутомим: он нашел где-то веревку, указал Тиме, что ее надо закрепить в самом верху сарая, где под соломенной крышей сходятся стропила, сам запилел края у дощечки и получились качели.

Сначала Тима раскачивал немца, а когда тот накачался вволю, предложил и дяде Тиме попробовать. Потом пробовали качаться вдвоем.

Но сколько километров до Сталинграда, немец Ганс так и не узнал, — погиб от разрыва снаряда. Однажды с двумя напарниками чистил он оружие, и то ли с наших позиций шальным снарядом их накрыло, то ли сам Ганс, играясь, уронил снаряд, но все трое погибли и были захоронены прямо под стеной хаты.

Вскоре появились битые немцы из-под Воронежа. Эти были уже озлоблены. Вот как об этом рассказывает моя сестра Таисия, ей было тогда пять лет.

«Первое, что немцы сделали, когда пришли — расстреляли нашу корову, телочку и овец. На рождество устроили "елку", отобрали у кошки, удавили и развесили во дворе на вишенке, как игрушки, моих любимых котят. Потом всех жителей загнали в погреб и выставили часовых.

Я поймала осиротевшую кошку, спрятала за пазуху и уже спускалась в погреб, думая, что спасла, и тут увидела направленный на меня автомат и услышала лающую брань. Я бросила кошку, она побежала, и тут же фашист дал по ней очередь. Полетели клочья шерсти, серый комок прокатился по земле и замер. Я забилась в дальний угол погреба и долго беззвучно плакала. Это было мое первое безутешное горе, а война у нас только началась. Никто не думал, что в погребе продержат три дня, еды не захватили, воды тоже не было, питались сырыми овощами. Соседка тетя Шура сумела незаметно пронести кусок сала. Его делили на всех и ели без хлеба. Вкуснее еды я с тех пор не пробовала...»

Через три дня всем жителям, а было их тогда около двухсот человек женщин, детей и стариков, было велено уходить на запад.

«Мама, — рассказывала сестра, — надела на меня два пальто, старое и новое, валенки, шапку и платок. Сама взяла на руки трехлетнего брата, на руку

повесила узелок с хлебом и ножницами, дала в руки мне подол своего пальто и сказала: "Дочь, держись крепко", — и мы пошли. Мне нестерпимо хотелось спать. Я отрывалась от маминого пальто, падала в снег и засыпала, а может быть, сначала засыпала, потом падала. Поняв, что я упала, мама продолжала какое-то время идти, потом клала братика на снег и возвращалась за мной. Потом снова подол маминого пальто, падение в снег и так все девятнадцать километров».

Голод в немецком тылу был невероятный. Ели траву, желуди, зимой почки с деревьев, гнилые овощи, но никто не умер. Да еще немцы приезжали со своей «продразверсткой». По хутору от двора к двору двигалась телега, а рядом шли вооруженные солдаты крича:

— Матка, кура, яйко, млеко!..

«Матка» разводила руками. Нет у меня уже ничего...

Тогда, оттолкнув ее в сторону, заходили во двор и рылись, в погребах и сараях, выгребая последние крохи. Во дворе матери шестерых детей Ксении Михайловны Харитоновой, светлая ей память, съестного не нашли. Да там и искать было нечего. Тогда вошли в хату, обшарили пустые углы, заглянули в печь, под печь, — ничего. Стали сгонять с печки детей. Когда спрыгнул последний, обнаружилась в углу сумочка с просом. Заглянувший в нее фашист довольно улыбался.

Мать, осознав, что у детей забирают последнее, обрекая их на голодную смерть, вцепилась в сумочку руками. Здоровый немец сумку удержал. «Отдай, гад!» — крикнула мать и изо всей силы одной рукой вцепилась в фашистскую морду. Дети с плачем бросились к матери, оттесняя ее от немца. Тот щелкнул затвором. Очередь прошла святой угол хаты: это его напарник успел дернуть автомат за ствол...

А в 1942 году они вернулись из немецкого тыла на пепелище. Сожжено было все. Есть было совершенно нечего. Ни хлебных карточек, ни даже самого мизерного пайка на оккупированных территориях не полагалось. Старшие ребята научились из трофейной маскировочной сетки делать ловушки для воробьев. Но от голода это не спасало. Все, что Ксения где-то добывала, отдавала детям, а самой, как она рассказывала, есть не хотелось и она этому очень радовалась. Потом увидела, что ноги остекленели, двигаться она уже почти не могла, и поняла, что умирает. Страх за детей обуял ее. Нашла Ксения в себе силы встать. Выжила сама и спасла детей.

Через много лет после войны позвали ее однажды к умирающему соседу:

— Хочет, — говорят, — покаяться.

— Соседушка, — прошептал он, всхлипывая, — прости за то, что поджег в войну твою хату. Я тогда пришел в Виноградовку первый, все хаты, смотрю, сгорели, а твоя стоит. Обидно мне стало...

В Сторожевом родительский дом тоже не сгорел и даже кое-какая мебель сохранилась, только после полугодового квартирования вражеских солдат дух стоял тяжелый. Мама решила хату побелить. Из травы начала вязать щетку, брата послала на откос за мелом. Белила развели в брошенной каске. Взявшись на шаткую скамейку, она начала белить потолок. Неожиданно в хату влетел Тима. Глаза его сияли. В руках он держал пригоршню картофеля.

— Смотри, что я нашел!

— Где ты их взял?

— В погребе.

— Так я же смотрела, немцы там все выгребли подчистую.

— Они в щели за бревна завалились, их не нашли. Давай супчик сварим, я мигом дров соберу.

— Знаешь, что, — подумав, сказала мама, — сейчас лето, супчик я лучше из крапивы сварю, а картошку давай посадим. Нам, похоже, придется под немцем еще зиму зимовать.

В огороде бурьян стоял почти в рост человека. Ни косы, ни лопаты не было. Но на месте сожженного стога сена трава не росла. Тима нашел подходящую острую железяку, и мелко порезанный по числу глазков картофель был посажен по пепелищу. Удивительно хороший урожай был собран той осенью. Я думаю, вся «война народная» состояла из таких вот бесчисленных фрагментов. Только по эпизодам можно узнать войну. И картошка 1942 года навсегда осталась в памяти нашей семьи.

Зимой 1945 года Тимофею исполнилось восемнадцать лет. Он был призван, попал на фронт под Кенигсберг и в первом же бою получил страшную контузию. Домой он вернулся немым, только через год стала возвращаться речь. Потом женился, вырастил детей, в сорок лет поступил в Харьковский ветеринарный институт, защитил диплом и до пенсии работал в Прохоровском Агропроме. Умер рано: контузия все-таки сказала.

На том берегу

Корову Лиду в шутку называли «фронтоничкой». По рассказам, она дважды пересекала линию фронта, а в 1943 году перед наступлением наших войск на Курской дуге эвакуировалась в тыл, волоча тачку с вещами, продуктами и старшими, довоенными мамиными детьми.

Частые обстрелы, бомбежки и даже легкие ранения, по-видимому, повлияли на характер «фронтонички». Она не подпускала к себе чужих людей, а бывало, что доставалось и своим. В мирное время бодливых коров долго не держали, но когда не на чем было пахать колхозные земли, а зимой возить из леса дрова, на поля навоз, то тут уже было не до бодливости и даже не до молока. Пасли коров утром, до наряда, немного в обед и вечером после работы. Кроме травы подкормить было нечем. Какое уж там молоко?

Но телят Лида приносила регулярно, а это была копейка в семью колхозников, получавших за свою работу только «палочки» в бумагах учетчиков. Каждой осенью подросших бычков и телочек вели сдавать в заготконтору. Там, помурывив сдатчика пару дней, чтобы не кормленная скотина побольше потеряла в весе, их все же принимали, а через какое-то время выдавали и деньги.

Трудно даже представить себе, насколько непредставима была крестьянская жизнь без коровы совсем недавно. Я помню еще, как дежурил у пасущейся за огородом Лиды. Уже несколько дней в ожидании отела ее не пускали в стадо, держали на привязи. Родители ночью по очереди навевывались в сарай, а днем я помогал. За огородом была небольшая изрытая зигзагами траншей поляна, а

дальше лес. Сидя на груше, у сорочьего гнезда я и заметил, что Лида лежит как-то странно и из нее что-то высунулось.

Пока я слезал, крича, пока бежал, пока бежали обратно мы с мамой, Лида уже облизывала черно-пеструю телочку. А поскольку больше всех при этом суетилась, стрекоча над ними, сорока, новорожденную нарекли «Сорокой».

В «царствование» Сороки прошло отрочество. Тогда, помогая отцу, я научился убирать навоз, чистить шерсть железной щеткой, обкусывать специальными клещами коровьи копыта, которые постоянно растут, как и человеческие ногти. А если их регулярно не «стричь», они будут болезненно заламываться.

Ежегодно ножовкой спиливали кончики рогов. У Сороки они росли не в стороны вверх, как у большинства коров, а вперед вовнутрь, загибаясь ко лбу.

В середине лета начинался овод. Мухи прокусывали крепкую коровью кожу, пили кровь и откладывали яйца. Через некоторое время из яиц появлялись личинки, которые быстро росли, а в зной начинали активно двигаться под кожей, приводя коров в бешенство. Задрав вверх хвосты и выпучив глаза, они начинали хаотически бегать со страшным ревом, а потом и разбегаться в разные стороны в поисках тени и места, где можно почесать спину. Это явление называлось «зык». Справиться с ним пастуху невозможно. При малейшем признаке начала зыка стадо спешно гнали домой. Даже укрывшись от жары в сараях, коровы продолжали некоторое время буйствовать. Рвали цепи, ломали ясли, калечили себя и хозяев.

Мой отец поступал так: на вздувшееся место коровьей шкуры наставлял горлышко бутылки и резко ударял кулаком по ее дну. При этом личинка овода выдавливалась из-под кожи в бутылку. Корова, по-видимому, испытывала при этом облегчение и сносила процедуру спокойно. А я помогал отцу находить под шерстью эти вздутия.

При Сороке был куплен первый ручной сепаратор. После каждой перегонки молока, — разделения его на сливки и обрат (обезжиренное молоко), сепаратор разбирали на два десятка деталей, тщательно мыли, сушили и снова собирали. Из обраты получали творог, часть доставалась теленку и поросенку, сливки опускались в подвал, а через несколько дней, когда они скисали в сметану, из них сбивали масло. Для этого в доме была специальная маслобойка, — деревянная кадка литров на пятнадцать, похожая на цилиндр очень большого насоса, в котором двигался вверх-вниз деревянный поршень с отверстиями. Масло получалось, если сметану прогоняли через эти отверстия пару тысяч раз. Процесс занимал до часа времени. Маслобойку тоже каждый раз мыли и детали развешивали по забору для просушки. В сельских семьях эту работу обычно выполняли старшие дети. За право крутить сепаратор бывали даже драки.

В памяти детства остался и ласкающий ухо ежедневный вечерний звон, доносившийся из распахнутых дверей коровника. Это звенел под тугими струями молока подойник. На звук прибежала кошка с котятками. Они укладывались вокруг лежащей на земле старой алюминиевой миски и смиренно ждали порцию молока. Когда я возвращался с улицы, наловив фуражкой целую банку майских жуков для кур, я тоже получал свою долю прямо из висевшего на сучке

груши бидона, в котором мама охлаждала процеженное молоко. Бывало, что в темноте натыкался на ежика, который с завидной пунктуальностью проверял кошачью миску — а вдруг, не допили...

То утро начиналось красиво. Стадо сонно брело на восток, где уже ясно обозначилось место восхода. Лог был залит таким плотным туманом, что казался белой молочной рекой. Входящие в него коровы исчезали по частям. Сначала пропадали из виду ноги, потом постепенно туловище, хвост и рога.

Но когда мы с Мишкой сами окунулись в туман, впечатление было такое, что попали мы в холодильник. Одежда сразу намочилась и прилипла к телу, но, главное, что не было видно коров. Правда, вскоре они сами дали о себе знать громким хрустом кукурузных стеблей и початков.

До сих пор живо во мне ощущение полной безысходности, которое я тогда испытал, бегая с диким криком по мокрой от росы двухметровой кукурузе, стегая палкой налево и направо по спинам коров, которые не реагировали ни на крик, ни на палку, пока не наелись от пуза.

Тут было сразу два опасных момента: потрава колхозных посевов, за которую могли наложить большой штраф, а еще страшнее — «обдutie» и массовый падеж скота при переедании мокрой зелени. За это родители не смогли бы расплатиться никогда.

Солнце стало пригревать. Туман рассеялся. Стадо мы выптали на открытое место и положили. Опытные пастухи знают, что для этого надо корову-вожака обогнать два раза вокруг стада. После этого отдышались, отжали одежду, вместе с обувью разложили ее на припеке сушить и развернули завтраки.

Слава богу, все обошлось. Никто ничего не заметил, обдутых коров не оказалось. Но после такого испытания я стал твердо настаивать, чтобы годовалую телку Милку родители сдали. Зачем такая мука и такой риск?

Той же осенью ее отвели в заготконтору. Мать, сопровождая процессию с хворостиной, проплакала все десять километров. И рассказывала потом она об этом всем, поминутно вытирая платком мокрые глаза. Говорила, что и у Милки тоже всю дорогу текли слезы.

— Скотина, а все понимала...

Хаты

Когда отец вернулся с войны, мама уже сумела сама построить хату. Как можно было на сплошном пепелище, оставшемся после танкового сражения, голыми руками решиться строить дом — для меня до сих пор остается загадкой. Самое удивительное, что почти все женщины-солдатки к концу войны тоже построились. На краю хутора даже образовалась новая улица Столбянка, названная так по способу строительства. Из столбиков, оклинцованных и обмазанных с двух сторон глиной, делались стены хат и даже потолки. Стояли они — « типовые » хаты ровным рядком, все, как одна, крытые ржаной соломой, залитой сверху раствором мела с глиной, с аккуратно подрезанной остро наточенным обломком косы стрехой.

Внутри все тоже было одинаковым. Кухня с русской печью в левом от входа углу, и плитой (грубкой), разделявшей хату пополам. Духовка выходила

в зал на два окошка. Хоть оконных рам для хаты требовалось немного, хлопот тогда с их изготовлением хватало. Всех известных в округе столяров забрала война. Случайно, в поисках работы на хуторе оказался один старичок из-под Корочи. У них деревни пострадали значительно меньше наших, и работы там для него не было. Несмотря на то, что столярничал он примитивным инструментом, и использовал бросовый материал, почти все рамы и двери на хуторе, сделанные его руками, служат по сей день.

За стеклами для нашего дома моя тетя вместе с одной дальней родственницей на товарных поездах ездили аж в Харьков. Им дали смерки, деньги и сундучок для стекол, поручили также купить две тетради для моей старшей сестры, которая пошла в первый класс.

Жулья в Харькове тогда было не меньше, чем теперь. В трамвае ехали стоя, плотно лицом к лицу, так как по слухам, тем, кто глазеет по сторонам, воры карманники резали бритвами лица. Стекла купить они сумели, правда, сундучок, который и без стекол был тяжелым, поднять не смогли. Волоком тащили до вокзала, потом толкались в товарняках, но все стекла довели целыми. А вот тетрадки у них «урки» срезали вместе с карманами. Видно по ошибке приняли их за деньги.

Известно, что хата с окнами, но без печи — еще не хата. Для печей нужен был кирпич. Добывали его — где придется. Собирали по огородам разбросанные снарядами обломки от довоенных построек, носили с железной дороги, где на разъезде немцы разбомбили казарму, возили на коровах из дальних сел бывший церковный кирпич.

Печника своего не было. Ходили разговоры, что есть где-то печник и скоро должен появиться на хуторе, но он все не шел. Тогда мать взяла пучок хворостин, пошла к единственной уцелевшей на хуторе печи, сняла с нее мерки и сама взялась за кладку.

Еще не успела выложить свою печь, как выстроилась очередь. Так что добрая половина хуторских печей — работа моей мамы.

Пол у всех был земляной, смазанный свежим коровяком с цветной глиной.

Строились еще и сени, но не «кленовые — решетчатые», а совсем маленькие, с одним окошком. Поэтому звались они не «сени», а «сенцы». Из них можно было при желании попасть на затянутае пыльной паутиной помещение под крышей, где, по преданию, жил домовый.

Недавно мне пришлось разбирать один из таких домов. Больше всего удивляли гвозди. Почти все они были самодельными, всевозможных форм и размеров. Мелкие, для крепления хворостяной дранки, были нарублены из проволоки; более крупные для крепления жердей и лат, напоминающие своей формой подковные, по-видимому, сработал кузнец. Стропила и балки (матицы) скреплялись железнодорожными костылями.

С поистине солдатской смекалкой использовали женщины в хозяйстве военные трофеи. Почти в каждом дворе от калитки до крыльца была проложена дорожка из танковой гусеницы, а само крыльцо представляло собой башенный люк. Для печных загнеток использовали люк водителя. Курятники были покрыты алюминиевыми плоскостями от самолетов, даже бальзамины и герани на подоконниках росли в коротких гильзах от снарядов.

В то время на прохоровских полях металла было предостаточно, но ведь дома-то строили деревянные. Добыть несколько крепких бревен для хаты можно было только в лесу. Однажды зимней ночью мама с соседкой пошли в лес на добычу «стройматериалов». Ушли далеко, чтобы лесничий, обнаружив следы порубки, искал злоумышленника не на хуторе. Выбрали в логу два дубка, спилили, обрубили сучья и попробовали тащить. Снег был глубокий, а подъем крутой. С превеликим трудом, по очереди, вынесли они оба бревна на опушку леса и на них же присели перевести дух. Неожиданно соседка спросила: «Как ты думаешь, если наши мужики вернуться с фронта живыми, будут они нас как до войны бить, гонять, матом "крестить"?»

— В моей голове, — говорила мать, — сразу замелькали страшные эпизоды войны: бомбежки, голод, холод, издевательства немцев. Я тогда и мысли не допускала, что после всего пережитого у кого-то рука поднимется или язык повернется. И пока я соображала, что сказать, соседка тяжело ответила, как обречла: «Бу-у-у-дут...»

Эти женщины до самой смерти помнили и могли рассказать с мельчайшими подробностями историю каждой жерди, стропила. Так трудно они им давались. Рядом с хутором было небольшое урочище Плотавец, проше, Плотавинка. От него буквально не осталось ни куста, ни деревца — только пеньки. Но они дали поросль. Она поднималась у меня на глазах, можно сказать, что росли мы вместе. Только у меня теперь лысина, а там шумит могучий дубовый лес.

Недавно одна из женщин, умирая, поведала мне связанную с тем временем тайну. Постигло ее великое горе. У нее четверо детей, а она заболела. И надеяться можно было только на Бога. Послал Он ей сон, в котором велел сделать доброе дело для чужого человека и чтобы об этом никто не узнал. Тогда как раз случился пожар. У одной вдовы сгорела хата.

— Надо, — решила женщина, — помочь погорелице.

Встала она ночью, взяла топор, пилу и пошла в дальний лес. Спилила там дерево такое, что едва можно было тащить. К рассвету приволокла его на погорелый двор. Беременная. А болезнь ушла.

Церкви тогда стояли без пения, но, видно, сильна была ее одинокая молитва...

Бабушка Федора

Не знаю, сколько церквей было в Прохоровском районе в послевоенное время. Да и были ли они вообще? В детстве, в юности я ни одной не видел. Между тем, всех, рожденных на хуторе, своевременно здесь же крестили, покойников отпевали. Все обряды по православным канонам вершила бабушка-Федора, по прозвищу «Богомолка». Она крестила моих дочерей, меня не раз приглашала в качестве крестного отца.

Однажды на хутор заехал священник. Поскольку в православии нет женского священства, я поинтересовался у него: являются ли федорины обряды действительными? После того, как священник уточнил все подробности, ответил утвердительно:

— В данном случае, являются...

А подробности жизни бабушки Федоры таковы. Родилась она в 1894 году в семье крестьянина Кривчикова Николая Трофимовича четвертым ребенком. До нее родились Павел, Тимофей и Прасковья, а младшего звали Иваном. В юности ей повезло: в 1917-м засватал ее Чурсин Фрол Леонтьевич из Прохоровки.

Федора попала в очень крепкую Прохоровскую семью. У ее мужа Фрола было два брата: Михаил и Алексей, сестры Мария и Анна и мать Елена. Семья имела несколько лошадей и занималась извозом. У них была даже крытая повозка — фаэтон, на которой со танции развозили по дальним селам, и даже в Корочу, прибывающих на поезде пассажиров. На второй день после свадьбы Федора встала раньше мужа и братьев, накормила, напоила вороных коней, привела в порядок упряжь, а самым удивительным было то, как она, баба, относилась к лошадям и лошади к ней. У нас было принято, что кони — это удел мужиков.

По праздничным дням Федора на паре лошадей в фаэтоне приезжала к родственникам в Сторожевое и в Малояблоново. Привозила подарки всем и своей крестнице Соне.

В том же самом фаэтоне везла Федора невесту для возвратившегося из плена брата Ивана. Свадьба была в мясоед. Всю ночь перед венчанием валил снег, утром мело. Невеста Марфа Титовна жила в Жимолостном, а церковный приход жениха был в Малояблоново. Когда мужики, проснувшись, выглянули на улицу, то решили свадьбу отложить, но оказалось, что Федора лошадей уже запрягла и ждет. Когда подъехали к дому невесты, увидели, что он полностью занесен снегом. Сватья посчитали, что в такую пропасть никто не придет, поэтому спали. Невесту пришлось откапывать самим. По сугробам с трудом добрались в Малояблоново. К свадебному столу в Сторожевое приехали, когда уже стемнело.

Несмотря на голодное время, по рюмочке водки гостям поднесли. Присутствовал на торжестве и приглашенный фокусник. Сначала он насыпал Федоре в подол горсть золотых пятирублевых монет, которые таинственным образом тут же исчезли, а потом попросил часы у моего деда Павла, на глазах у всех покрошил их молотком, но потом вернул в целости.

В 1930 году началась коллективизация. Брат Федоры Иванок вовремя отдал колхозу двух коров и конную крупорушку, от которой он имел хороший доход и безбедную жизнь. Это спасло его от раскулачивания. А федорина семья в колхоз идти отказалась. В 1932 году к ним пришли представители власти и потребовали в двухдневный срок уплатить налог. Сумму указали невозможную. За неуплату забрали Федору и мужа в милицию. По ночам сердобольные милиционеры отпускали Федору домой. Она успевала топить печь, варить детям суп, а к утру возвращалась в камеру.

В декабре 1932 года их раскулачили. Конвой усадил семью Фрола на сани, и по морозцу повезли. Ни теплых вещей, ни продуктов с собой не дали. Эшелон стальной вагонов для кулаков отправлялся в Карело-Финскую республику. У Фрола и Федоры к тому времени было четверо детей: всех разместили в бараках. Взрослые работали на лесоповале. Женщины наравне с мужчинами. Потом перевели в рыболовецкий колхоз, стало лучше с питанием. Письма отправлять и получать не запрещалось.

В семье брата Павла появилась традиция. Ежегодно на Пасху семья

собиралась за столом, и все вместе сочиняли для Федоры письмо, дабы не упустить каких-либо подробностей. В другое время письма тоже отправляли, но на Пасху обязательно. Ответ приходил не раньше Троицы, где Федора писала, что снег у них стаял еще не весь...

За годы ссылки у Федоры умерли от голода маленькая дочь, муж, свекровь. Старший сын, Николай, погиб на войне. В 1944-м с двумя оставшимися в живых детьми, Дусей и Митей, Федора решила возвратиться домой. В путь пустились нелегально, не имея ни денег, ни продуктов. Как они добирались, сколько были в дороге, чем питались, не знаю, только однажды ночью постучались в дом сестры Прасковьи на станции Гостищево. А уже на следующий день, оставив утомившихся в дороге детей у сестры, поехали с племянницей в Сторожевое.

К дому подошли вечером, люди еще работали, кто в огороде, кто по хозяйству. Племянница Рая, любительница шуток и розыгрышей, подошла к моему деду Павлу Николаевичу и спросила:

— Не пустите на ночлег эту девочку?, — и указала на Федору.

Дед действительно увидел худенькую девочку лет четырнадцати, как ему в сумерках показалось. Родной сестры он в ней не узнал. В то время народу по нашим местам бродило много. Кто возвращался из эвакуации, кто искал родных, кто просто странствовал, не имея пристанища.

— Переночевать-то можно, солома есть, и уголок в хате найдется, да вот только с питанием у нас плохо, — сказал он. Может быть, ты пройдешься по хутору, пока не стемнело, — обратился дед к молчавшей до этого Федоре, — соберешь милостыню, да и мы что-то добавим. Вот и поужинаешь.

Тут нервы гости не выдержали.

— Братка, — это же я, сестра твоя, — Федора, — проговорила она сквозь подступивший к горлу ком, — и бросилась со слезами брату на грудь.

Слез было много, разговоров еще больше. Не виделись они к тому времени уже 11 лет.

С этого дня в дедовом полуразрушенном доме поселилась еще одна, уже пятая по счету фамилия — Чурсины. Жили там и предки мои — дед Павел Николаевич с бабушкой Василисой Ивановной, трое их детей, зятя, невестки, трое внуков, приблудившийся старик со странной фамилией — Черный, итого шестнадцать душ в одной комнате и кухне.

Федора прославилась на хуторе тем, что умела все. Лечила панариций (внутренний нарыв пальца руки, в народе именуемый «волос»), причем безоперационно. У детей вычитывала испуг. По форме живота у беременной могла безошибочно определить пол ребенка. К ней вели заболевшую скотину.

В трудное послевоенное время, когда еще в хлеб добавляли лебеду, когда негде было жить и не во что одеться, только глядя на Федору, вспоминали люди о Боге. Она сумела убедить хуторян огородить кладбище, где по заросшим могилам пасся скот. Не стеснялась пристыдить тех, кто не ухаживал за могилами предков. Ни один человек не смел при ней сквернословить.

Знала Федора старославянский язык, свободно и с понятием читала псалтырь. Знала наизусть все христианские молитвы и церковные песнопения. Святила воду. По библии предсказывала будущее. Поддерживала связь с каким-то монастырем на Украине, к ней постоянно приезжали монахи.

Заставленный иконами святой угол ее хаты напоминал церковный алтарь,

там почти всегда горела лампада. Когда монастырь во времена Хрущева закрыли, к ней привезли три сундука старинных церковных книг. Потом эти книги вместе с иконами монахини куда-то увезли. Мне от бабушки Федоры досталась только одна пропитанная копотью церковных свечей книга, с которой она не расставалась всю жизнь и даже пронесла с собой через ссылку: это «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа» на славянском и русском языках, напечатанный в синодальной типографии Петрограда в 1915 году.

Благодаря феноменальной памяти, помнила Федора Николаевна всех наших предков с момента переселения их из-под Тулы во времена царствования Алексея Михайловича. Будучи студентом, я на каникулах купил общую тетрадь в девяносто шесть листов, озаглавил «История рода Кривчиковых» и даже написал по памяти два предложения: «Когда боярские дети братья Кривчиковы впервые прибыли в указанное место, будущее село Малояблоново, то увидели большой яр, по краю которого росли громадные дикие груши, а в их кронах — гнезда орлов. Сами же птицы грациозно парили над яром».

Тогда мне казалось, что впереди еще уйма времени, и когда-нибудь, когда совсем нечего будет делать, я пойду к бабушке и все запишу.

Теперь об этом можно только сожалеть...

Место моего рождения по паспорту — хутор Сторожевое, что соответствует действительности. Это место я могу указать с точностью до квадратного метра. Родился я в апреле 1947 года в крестьянской хате. Из утробы матери приняла меня бабушка Федора, она же и завязала пуповину.

Любовь

Две старухи без зубов
Говорили про любовь...

Рассказывала мне Варвара Тимофеевна про любовь с первого взгляда.

После войны в лесхозе работала Озерова Маруся. Потом она уехала в Харьков. Квартиру там сняла, на работу устроилась. Работает, работает, а домой не едет — все дела, дела, в выходные постирать надо... А мать ее — Настя — жила на хуторе в Сторожевом — стала сердчать. Что ж такое, уехала и нос не кажет! Огород надо полоть, то, се. Приехала бы, да и помогла. Хоть бы не обещала, а то: буду приезжать, буду помогать... Только письмо прислала — как ты мама там живешь? И все.

Сама огород прополола, выбелила хату, все перестирала, полный порядок навела и думает: «Дай-ка я напишу ей письмо, что так заболела, что конец света мне, что, может, меня живой уже не захватишь. Хочу, мол, тебя в последний раз повидать».

И накатала такое письмо... Примчалась Маруся поездом, со станции — тогда она называлась Куски — бегом. Прибежала и видит, что кругом полный порядок, все чисто, подметено. Заходит в хату, там зем (земляной пол — *авт.*) подмазана, уголки подведены охрою, наволочки на подушках постираны, отглажены, все красиво убрано, по-хозяйски. А мамы нету. «Наверно, — думает

Маруся, — соседи постарались к похоронам, помогли. А мать уже схоронили». Выскочила на двор, стоит сама не своя. Глядь, а мать с огорода с тяпкой идет.

— Мам?! — обомлела, — да что ж ты меня так напугала!

— Как же тебя не пугать, когда ты глаз не показываешь, не едешь к матери. Приехала бы, о себе рассказала, у меня бы расспросила, как я тут.

— Да я только устроилась, только работать начала, сама еще ничего не поняла, а тебе уже расскажи. Тебе любопытство, а я бегом бежала, сердце останавливалось, разве так можно?

— Ладно, выговаривать, садись лучше есть.

— Да я так настрадалась, что и есть не хочу.

— Все, забудь. Я тебя увидела, ты меня тоже, значит все хорошо. У матери все поделано, отдыхай.

— Нет, мам, отдыхать нельзя, я завтра утром должна ехать, меня директор отпустил на похороны, а не на отдых.

Мать собрала продукты, яиц на дорогу сварила.

Почти всю ночь разговаривали — мать свое рассказывала, Маруся свое. Уснули под утро. Утром в поезд села. Ну, думает, сейчас яичко очищу, да съем. Только разбила яйцо, к ней парень подошел. Спрятала она это яйцо. Молодежь: неудобно при парне жевать. Сам — солдат, едет домой из армии. А она — совсем девчонка хуторская — смущается. Пересела она на другое место, он опять подошел, сел.

— Почему вы не хотите со мной побеседовать? — говорит.

— А о чем я должна с вами разговаривать?

— Да разве не о чем? Я, вот, солдат, служил, три года дома не был, мирную жизнь забыл. Мне все интересно. Что у вас нового, как вы сейчас живете?

— Я, — отвечает она резко, — вас не знаю, вы меня — тоже, нечего мне с вами разговаривать.

В Дергачах пересадка. Из пригорода тогда много возили в Харьков мяса продавать. Кто вез поросеночка, кто теленочка. В колхозах денег тогда не платили, а обуться-одеться всем надо, вот и возили.

При пересадке Маруся попыталась спрятаться за мешками, думала, солдат ее из виду потеряет. Нет, не потерял. «Вот, — думает, — наглый какой, куда я — туда и он».

Вагоны меняла, в другой поезд пересела. Вот наказание, что делать? Видит она, что солдат не отстанет.

А он и впрямь не унимается:

— Девушка, как вас зовут?

— Лена, — соврала она.

— А где вы живете?

Леной звали хозяйскую дочь. Маруся дала ему адрес этой Лены и даже фамилию сообщила. Под чужим именем Маруся-Лена осмелела, поговорила с солдатом, а в Харькове каждый сел на свой трамвай — и они разъехались. Как она надеялась, насовсем.

Прошла неделя. Маме Маруся написала, что доехала благополучно, если не считать, что в поезде пристал солдат, так что за всю дорогу не дал яйца съесть: голодная и приехала.

В очередной выходной Маруся у хозяйки взялась за стирку. А девка она очень видная была — волосы черные, кудрявая, стройная.

Слышит, стучит кто-то в дверь. Хозяйка вышла.

— Здесь живет такая-то?

— Здесь, — отвечает хозяйка.

— Можно ее видеть?

— Пожалуйста. Лена выйди, к тебе пришли!

Выходит Лена, на Марусю совсем не похожая — волосы светлые, рост меньше и фигура сутуловатая.

Посмотрел на нее солдат и спрашивает:

— А в вашем доме случайно другой девушки нет?

— Маруся, — зовет хозяйка, — а ну-ка выйди, покажись!

Выходит Маруся — от стирки румяная, красивая, рукава высоко завернуты, руки крепкие.

— Ну, вот, — говорит солдат, — хоть ты и схитрила, я тебя нашел.

— погоди, солдатик, — вмешалась хозяйка, — я ей тут вторая мать, если ты парень серьезный, то заходи в дом, будем разговаривать.

— А я за тем и пришел, чтобы сказать, что полюбил Марусю с первого взгляда и намерен жениться...

На другой день пишет Маруся письмо матери: «Тот солдат, что приставал в поезде, так навязался на мою душу, что хочет уже посватать. Просит, чтобы ты приехала в Харьков знакомиться с его родителями. Вот их харьковский адрес...»

Только мать прочитала письмо, приходит Шура, сестра.

— Шур, — говорит она, — Маруся пишет — с родителями знакомиться... Что делать?

— Поехали, только собраться надо, не с пустыми же руками.

Чемоданов тогда не было. Набили продуктами плетеные корзины. Все, как положено: молочка, сметанки, творогу, огурцов-помидоров, лучку-чесночку, картошки хорошо накопили. Связали корзины парами, чтобы вешать через плечо, в руки по сумке — и поехали. Приехали в Харьков и стали искать. Думали, что у первого дома спросят, где Коля Иванов живет, и им покажут. Но как бы не так. Уж вечер подошел, что делать? Не найдут — и все.

Подходит милиционер.

— Гражданочки, вы кто такие?

Долго ли, коротко ли, рассказали они ему все, он их в отделении спать уложил, а наутро все вместе поехали жениха искать.

По адресу почти сразу нашли улицу, дом.

Постучали.

Выходит парень в фартуке, глиной перемазанный, видно, что занимается ремонтом.

Милиционер спрашивает:

— Вас разыскивают эти две гражданки, вы их знаете?

Парень рот раскрыл, а Шура и говорит:

— Вы-то нас не знаете, а мы вас знаем. Есть у меня племянница Маруся, с нею в поезде солдат познакомился, потом на квартиру приехал. Вы его, случаем, не знаете?

— Знаю, а вы, — обращается к Насте, — наверно, ее мама?

Очень Маруся была на мать похожа.

— Да, мама.

— Ну, — говорит хозяйка, — тогда пожалуйста, проходите в квартиру.

Милиционер откланялся:

— Жениха я вам, вижу, нашел, так что, гражданочки, до свидания. А вы, — говорит жениху, — потом обязательно проводите гостей к поезду и посадите, чтобы они смогли попасть домой.

И уехал.

Оказалось, что жених уже готовил к свадьбе комнату для совместного проживания с молодой женой. Разделил помещение в доме. Выломал грубку и сделал перегородку, чтобы комнаты были отдельными, и кухонька. Делал все сам. За работой печником его и застали гости.

— Ему бы погодить, — пожаловалась мать солдата, — погулял бы после службы. А он — жениться. Как увидел вашу дочь — слышать ничего не хочет. Сватовство в тот же день состоялось, стол накрыли, сватов угостили чем бог дал, посидели, все обговорили и вскорости свадьбу справили.

Так вышла Маруся замуж. Уже пятьдесят девять лет прошло с того дня, когда эта любовь с первого взгляда случилась. И тем, кто говорит, что такой любви не бывает, не верьте — бывает. И даже, пожалуй, у многих на этот случай найдется, что рассказать.

Дикие груши

В современном мире царствуют технологии: это касается даже такого древнего занятия, как садоводство. А мой дед Кривчиков Павел Николаевич, не доживший до эпохи технологий, приматывал привой к подвою пенькой да рогожей. Неудачных операций у него не было. Говорили, что рука у него легкая, а я думаю, что дело не столько в руке, сколько в любви к тому, что делаешь.

В то время дед постоянно общался с пчеловодами и садоводами-любителями, проходя пешком десятки верст в поисках редких сортов яблонь, груш, вишен. Садоводы тогда щедро делились друг с другом прививочным материалом, поэтому часть принесенных почек оставалась свободной. Ими дед прививал дикорастущие яблоньки и грушки в окрестных лесах и перелесках.

В пору моего детства по опушкам леса встречались уже взрослые деревья, у которых одна половина веток была дичкой, а на второй зрели настоящие садовые груши или яблоки. Уже тогда мальчишки обклевывали их, как птицы. До войны садов на хуторе было не так уж много, но немцы вырубili и их. Им нужен был обзор вокруг домов.

Так что нам, послевоенным хуторским ребятишкам, повезло, — мы могли вволю лакомиться грушами и яблоками в лесу, а вот в тех селах, где близко лесов не было, дети в то голодное время и дикого яблока не ели.

Однажды лесничий застиг таких вот мальчишек за сбором груш и повел их к нам, чтобы на хуторе составить протокол. Ребята не растерялись, бросили груши и разбежались в разные стороны. Раздосадованный дядя Коля выпил предложенный отцом стакан и уехал, а наша мама схватилась за голову.

Это какое сердце надо иметь, — сокрушалась она, — чтобы у голодных детей отнимать!

Через соседей она выяснила, что ребята эти из Правороти, до которой около шести километров, почти все они — дети солдатских вдов. В тот же день маме удалось через пастухов передать в Правороть, чтобы пришли за грушами.

В прошлом году ехал я на своем «Москвиче» из Беленихино полевой дорогой и настиг незнакомую женщину, нагруженную тяжелыми сумками. Дорогой она рассказала, что живет в Белгороде, а недавно они купили в Виноградовке дом с усадьбой. По рассказу я понял, что она теперь соседка бывшего нашего лесничего. И действительно, когда мы подъехали, то на противоположной стороне улицы на большом бревне в тени под раkitой сидел дядя Коля, — седой старик лет восьмидесяти. Я поздоровался и сел рядом.

Он меня узнал, обрадовался, расспросил об отце, вспомнил молодые годы, прослезился.

Когда я, отважившись, наконец спросил его, помнит ли он тех ребяташек с грушами, то он, сразу поняв, о чем речь, с укором сказал:

— Милый, ты же знаешь, как все было строго: у меня был план, а план — это закон. По плану я должен был собрать столько-то груш, яблок, желудей, орехов и в том числе без трудовых затрат, — это значит отобранных у населения; должен был конфисковать у браконьеров столько-то пил, топоров. Я тогда вынужден был ходить по деревне и выпрашивать у людей негодные ржавые инструменты, точить вручную на камне топоры, чтобы были похожи на настоящие, делать к ним топорища и сдавать по инстанции, как отобранные...

Он помолчал минуту, потом вдруг рассмеялся и сказал:

— Эх, милый, какой случай у меня один раз был. Привозит ко мне районный начальник ревизора из области. Показывай, говорит, свое хозяйство. Оно тогда считалось одним из лучших в области. Три дня ревизор меня мурыжил. Но в целом остался доволен. В день отъезда наш начальник мне говорит: понравились ревизору твои груши. Отбери ему мешочек самых лучших, да смотри, чтобы были все одна к одной.

А как раз перед этим я поймал трех женщин с мешками в Поповике. Помнишь, какие груши там тогда были? Ну, думаю, бабы — это же не пацаны. Что после них перебирать? Мешки были справные, так я их вместе с грушами, не пересыпая, и отдал.... Как я тогда не полетел с работы! Оказалось, что у одной из этих женщин случились, как теперь говорят, критические дни. Спрятать свое хозяйство ей, видно, было некуда. Она завернула его в лопухи и сунула в мешок под груши... Ох, и горя я тогда хлебнул! Это теперь смешно...

Вспоминал дядя Коля суровые службы послевоенных лет, а я вспоминал, как когда-то за моей детской спиной храпела лошадь объездчика, ноги путались в колхозном горохе, а плечи больно обжигал кнут. Но я не помню обиды на тех лесничих и объездчиков, на те «знаменитые» порядки. Все осталось в длинном ряду романтических приключений детства, без которых не о чем было бы и вспомнить.

Комод

Наше время иногда именуют эпохой потребления. Сейчас вряд ли найдется человек, который сможет перечислить все принадлежащие ему вещи. Я же застал еще то время, когда вещи в доме можно было буквально пересчитать по пальцам. Из посуды у нас было три миски алюминиевых — две больших и одна маленькая, кружка медная литровая, сковорода, три чугунок разного объема, нож, сделанный из косы, пять алюминиевых ложек.

Стояла железная кровать, на ней спали родители, — без сетки, застеленная досками, на которых лежала перина и три подушки — две больших и маленькая — «думочка». У обеденного стола в кухне стояла большая скамейка со спинкой и подлокотниками. К подлокотнику мама привязывала марлевый узелок с творогом, сыворотка из которого стекала в подставленный чугунок. Как-то мы с братом прогрызли в узелке дыру, и через нее таскали творог. За это нам влетело, но не из-за съеденного творога, а за испорченную марлю.

Поскольку мы держали корову, то была маслобойка, возле русской печи стояли два ухвата-«рогача», чапельник или «чапля» — длинная съемная ручка для сковороды, деревянная лопата, с помощью которой в печь сажался хлеб и большая кочерга. Рядом стояла деревянная лоханка — «дежа», в ней дважды в неделю мама замешивала тесто.

У отца было ружье, а у мамы — ножная швейная машинка, шить на которой я научился еще до школы. В 1947 году — в самый год моего рождения — в стране проводилась денежная реформа. Ходили слухи, что старые деньги обмениваться не будут и просто пропадут. Отец собрал все до копейки, поехал в Белгород и купил два красивых стула с высокими спинками и патефон. Патефон потом попал в клуб, да там и остался. Еще были керосиновые лампы. Их было две — десятилинейная и семилинейная. Что означали цифры, я точно не знаю, но у десятилинейной фитиль был шире, горелка и стеклянная колба — крупнее, светила она ярче, но и керосина потребляла больше. Ее зажигали по необходимости, например, когда приходили гости играть в карты. Колбы ежедневно очищали от копоти мятыми газетами, фитиль поправляли ножницами, так как середина его выгорала быстрее, и пламя из язычка превращалось в раздвоенный змеиный язык и начинало коптить. Колбы при чистке или от резкого нагрева часто бились, но они всегда были, как товар первой необходимости, в магазине «У Великого». Так, по имени заведующего Великих Степана Свиридовича, звался тогда единственный в районе хозяйственный магазин.

В святом углу висела икона Николая Чудотворца с лампадкой, а по стенам в деревянных рамах грубой работы — довоенные портреты молодых родителей, сделанные мастером фотоувеличения с дорисованными карандашом костюмами. И была красивая цветная репродукция в раме из золотого багета, где на лесной поляне гуляли Сталин и Молотов с детьми. У Васи Сталина на запястье сидела яркая бабочка, которую он внимательно рассматривал, а маленькая Светлана держала в руках сачок. Картину купили в 1949 году на «материнский капитал», который мама получила по рождению четвертого ребенка — моего брата Михаила. После XX партсъезда отец вырезал из газеты новый состав политбюро во главе с Хрущевым и наклеил его Сталину на спину. Как и у всех хуторян, на подоконниках, в коротких гильзах от снарядов цвели бальзамины. У нас этот цветок звался «каприз». Позже появились два фикуса и китайская роза.

Но самой диковинной вещью в нашем доме был красивый комод ручной работы с отделкой из резных и точеных деталей. Слово «комод» пришло к нам из Франции — там прилагательное «commode» означает — «удобный». Действительно, в сравнении с традиционными сундуками и ларцами — комод — вещь удобная. У нашего комода было 4 ящика. Два больших — там хранились от Пасхи до Пасхи нарядные, расшитые красным и черным крестиком самотканые

кружевные полотенца, которыми под праздник оборачивались висящие на стенах рамы с фотографиями и зеркало над комодом. Еще было два маленьких: там хранились документы, военные награды родителей, опасная бритва отца и всякая мелочь.

Куплен был комод еще до войны, когда наши родители только поженились, и это было их первое совместно нажитое имущество. Жили они тогда в Белгороде на частной квартире. Когда отец ушел на фронт, мама с двумя детьми уехала к своим в Сторожевое. Комод остался в доме хозяйки. Вместе с домом он пережил бомбежки, фронт, оккупацию и освобождение города и по счастливой случайности оказался цел и невредим.

И вот, зимой 1944 года мама получила от хозяйки письмо с просьбой забрать комод. А как забрать? Ни о машине, ни даже о лошади с санями мечтать не приходилось: вся техника и гужевая сила тогда были на фронте. Видя горе сестры, тетя Соня предложила привезти комод на санках. «Вдвоем — не одной, — сказала она. — Как-нибудь дотащим».

У деда Кривчикова Павла Николаевича были санки, на которые садилось на горке четверо больших парней. В Белгород доехали поездом: с трудом — платформы тогда не было — затащили в тамбур санки. Ясно было, что комод в тамбур не войдет. К вечеру сестры были у хозяйки, там переночевали, а утром вытащили по частям комод, погрузили на санки и тронулись в путь. День был погожий, дорога укатана, и первые тридцать километров до поселка Яковлево дошли без проблем, «только столбы мелькали».

Следующие тридцать километров оказались тяжелее: по дороге прошел трактор с санями и оставил две глубоких колеи. Тренированные спортсмены-марафонцы в спортивной обуви и налегке к сороковому километру иногда падают в обморок. А сестры в телогрейках и валенках по бездорожью прошли уже пятьдесят. У них уже не слушались ноги, не поднимались руки. Наступала ночь, усиливался мороз. Ясно было уже, что домой им не попасть, ночевать в поле — верная гибель. За время войны расплодились волки и их голодные стаи рыскали даже по дворам.

При свете луны заметили они невдалеке от дороги хутор и решили идти туда. Время позднее. Собаки лают, а огонька нигде не светится. Постучали в окно крайней хаты — не открывают. Только в третьей — на стук засветился огонь и приоткрылась дверь. Женщина сказала, что впустить не может, в хате только что отелилась корова. Можно заночевать только в сенцах, на соломе. Деваться было некуда и тесно прижавшись друг к другу, обессиленные сестры мгновенно уснули.

В конце концов комод они дотащили. Тетя говорила, что последних километров она не помнит вообще. Ни как пришли, ни кто встречал, ни кто заносил комод. По рассказам узнала, что, покормив, их уложили спать и спали они целые сутки. Удивительно — не простудились, ни обморозились.

К сожалению, комод не сохранился. В нем завелся жук-точильщик. Отец пытался с ним бороться. Но все равно снова и снова на полу обнаруживалась свежая кучка древесной пыли. Комод сожгли. Почему-то мне жаль его. Старые вещи переплетают времена, они — связь времен. Кстати, и пластинки от несуществующего патефона я зачем-то храню.

Отпетая

У моего прапрадеда Трофима Яковлевича была сестра. Замуж она вышла в Тетеревино. Детей Бог не дал, и когда умер муж, старая женщина осталась одна. Ухаживать за нею там было некому, и брат привез ее на хутор. Однажды утром сестра не проснулась. Как положено, ее помыли, одели, положили на топчане, гроб сделать еще не успели. Ночью сидели у изголовья две дочери Трофима — Наталья и Ганя и невестка Февронья — жена моего прадеда Николая Трофимовича. Наталья читала псалтырь. После полуночи Февронья с Ганей решили прилечь.

А Наталья под утро слышит вдруг голос:

— Ната, ты считаешь, что я мертвая. А я проснулась уже давно, только заговорить не могла, напугать вас боялась. Слышала, как вы меня оплакивали, особенно понравилось, как Хавроша голосила.

Ну, тут уж все в доме проснулись, и хотя был небольшой переполох, но больше было радости и удивления. А умерла она только через сорок дней. Тут уже, как положено, выждали три дня и только потом похоронили.

Пчелы

У плохих людей пчелы не водятся.

Вот уж кто умел рассказать о пчелах — так это мой крестный отец, Дмитрий Павлович, которого я люблю и на которого всегда старался быть похожим. Когда я однажды попросил его вспомнить все, что у него осталось в памяти о войне, то даже этот рассказ он начал с пчел — ими и закончил.

На хуторе звали его Митяка: у всех хуторских фамилия была одна — Кривчиковы, так что прозвища были у всех. Чтобы различать Василиев, например, были придуманы Васеня, Васенок, Васик, Васяка, Васек, Василек, Васечка. И каждый из них был чем-то похож на свое имя. По крайней мере, неразберихи в именах никогда не было. И Митяку никогда не путали ни с Митей, который был ему двоюродным братом, ни с Митюком.

Впрочем, отличался он не только прозвищем. Из двенадцати родных его братьев и сестер никому, наверно, не досталось столько злоключений, сколько выпало их на долю Митяки.

Когда ему было от роду один год, он, заглядевшись на маленьких поросят, которых зимой внесли в дом и упал на них с печи.

В два года, помогая отцу сбивать рамки для ульев, проглотил гвоздь, который потом, слава Богу, благополучно вышел. Ему не исполнилось еще трех лет, когда он, уйдя вслед за старшими в лес, заблудился. Искали его весь день, а нашли только поздно вечером, стоящим под кустом. Одной рукой он держался за веточку, а во второй держал букетик цветов и улыбался. Как-то ранней весной пришел с гулянья по снегу босиком — его лапки так завязли в грязи на проталине, что их пришлось там и оставить.

Его воспитанием больше занимался отец, поскольку мать их Василиса была вынуждена постоянно хлопотать по хозяйству. Любил отец природу, животных,

мог подражать вою волков так, что зимней ночью они начинали ему отзывать. Дети это знали. Когда однажды они собирали в лесу опенки, отец спросил: «Волка позвать?» Старшие дети в испуге закричали: «Не надо!» И только один Митяка спокойно сказал: «Позови, а то я его никогда не видел».

В голодном 33-м году, после того, как Митяка долго не давал матери работать, прося все время есть, она дала ему кусочек хлеба, налила в миску старой прогорклой патоки, а сама ушла на огород.

После такой еды страшно захотелось пить, а воды Митяка в доме не нашел. Решил сам достать воды из колодца. Сделал все грамотно: воды зачерпнул ведром не много и поднял его веревкой без особого труда. Но когда, перевалившись через сруб, попытался дотянуться до дужки, не удержался и вслед за ведром полетел в колодец. Взрослые увидели его уже стоящим посреди двора, мокрым, с разбитым лицом. Митяка сказал, что упал в колодец. Ему не поверили, но следы крови по всему углу сруба подтверждали его слова.

На другой день отец повез бедолагу в больницу. Прохоровский фельдшер Тимофей Сидорович накладывал без наркоза на рассеченный лоб четырехлетнего малыша Митяки швы. Митяка не плакал.

Митякин отец Павел Николаевич заведовал колхозной пасекой, которую довел до ста двадцати ульев. Так как помощников ему колхоз не давал, а одному человеку такая работа не по силам, то Митяка уже в десятилетнем возрасте начал всерьез помогать отцу. Июньским летом сорок первого года стояли они на кочевке в балке небольшого перелеска. После жаркого полудня пошел проливной дождь. У изгороди пасеки образовался затор из прошлогодней листвы и веток. За ним собралась вода. Когда Митяка заметил это из окна сторожки, то сразу сообразил, что, прорвав затор, вода может снести и ульи. Он разбудил отца. Ульи были тяжелые, скользкие. Надевать маски и закрывать летки было некогда. Потревоженные пчелы жалили. Отец и сын едва успели вынести ульи из опасного места на взгорок, как хлынула вода. Измокшие, уставшие и испуганные они отправились домой. У школы стояли хуторяне, слушая приехавшего верхового. Так они узнали, что началась война.

Сорок первый год был урожайным, пасека дала почти шесть тонн меда. Когда его разделили, получилось по три ведра на двор. А потом пришли немцы. Отцову пасеку в двадцать ульев разграбили, мед поели, а пчел поморозили. Митяка в ту зиму простыл, и у него началось воспаление легких. Когда немцы расквартировались, его старшая сестра решила схитрить и сказала офицеру, что в их доме находится больной туберкулезом мальчик и селиться к ним опасно.

— Это не важно, — ответил фашист, — мальчика мы застрелим...

В первую зиму войны хутор оказался во фронтовой полосе, так как соседнее село Правороть немцы не взяли. Поэтому 17 января вечером они погнали всех хуторян, а их было тогда более двухсот человек, в свой тыл. Ночевать семья остановилась в Прелестном, на Юдинке у Лазаревой Анны. Там остались до весны.

Старших детей немцы определили на работы, а двенадцатилетний Митяка с младшим братом Павликом ходил побираться по окрестным селам: Карташовке, Курлам, Прицепиловке, Ильинке, Кочетовке. Кормили всю семью. Хлеб им доставался редко. Чаще подавали горсть ячменя или овса, корень свеклы,

картофелину, морковку, в некоторых дворах не давали ничего. И хотя ребята знали наперед, где не подадут, все равно заходили.

Когда пришла весна, начали тайком ходить на хутор, доставать припрятанные там семена, вскапывать землю и сеять. Благодаря этому, хоть и прожили вторую военную зиму под немцем, уже не побирались, хоть и недоедали. Но главное — вернулись в родной дом! Вместе с семьей зимовали и спрятанные в окопе два пчелиных роя. В феврале 1943 года хутор был освобожден Красной армией. А перед началом танкового сражения под Прохоровкой на пасеке стояло уже пять ульев.

О том, что над самым хутором Сторожевым столкнутся невероятные силы войны, разумеется, никто не знал. Знали о создающихся линиях обороны, видели, что солдаты готовятся к бою — но на войне это ведь дело обычное. 11 июля 1943 года военные стали просить всех жителей срочно покинуть прифронтовую полосу и уходить на восток. А то, мол, скоро «начнется». Задержалась только мать Митяки Василиса Ивановна — солдаты с полевой кухни дали ей муки, а поскольку время было голодное, она тут же замесила тесто и растопила печь. Митяка пошел было со всеми беженцами, но матери все не было и не было и он решил возвращаться на хутор. По дорогам на запад двигались войска. Несколько раз налетали немецкие бомбардировщики. Вечером, уже на подходе к Сторожевому, Митяку задержал патруль. Сколько ни умолял Митяка пустить его к матери, дальше прохода не было. Выручил подъехавший на «Виллисе» генерал. Он посадил Митяку в машину и подвез к самому дому, предупредив, чтоб уходили по-быстрому.

Начали спешно собираться. Посадили в мешок курочек, на тачку сложили вещи. Впопыхах не заметили, что короткая летняя ночь уже сменилась рассветом, а печь еще только разгорелась.

Митяка побежал накопать молодой картошки, а мать — в погреб за тестом. В это время немецкий снаряд пробил стену дома и взорвался в печи. Соломенная крыша вместе с потолком и стропилами упала в огород, придавив Митяку. Впрочем, ему опять повезло.

Слышалась уже канонада сражения. Мать хотела подхватить котелок с тестом и бежать, но тут бойцы забрали тачку, чтобы отвезти в медсанбат раненого командира. Бежать было поздно.

В бурьяне возле дома, между кустами смородины, была отрыта глубокая щель. Узкий окоп быстро накрыли сорванной снарядом дверью, бревнами и всяким хламом. Вход закрыли крышкой от улья. В окоп успели взять кур в мешке и котелок с тестом. Сначала еще были различимы крики команд, стоны раненых, потом все переросло в сплошной адский рев. В каждую секунду рвались сотни снарядов, мин и бомб, ревели моторы танков, выли самолеты, железо скрежетало о железо, заглушая пулеметную и винтовочную стрельбу. Земля в буквальном смысле слова ходила ходуном.

Хутор несколько раз переходил из рук в руки, несколько раз над ним схлестывались волны наших и немецких контратак. Поразительно, что и в этом аду куры, которых мать подкармливала тестом, неслись. Кроме яиц и теста еды в окопе не было. К утру 18 июля гул канонады стал стихать и удаляться, снаружи слышалась родная речь, поседевшие за шесть дней обитатели окопа выбрались из укрытия. От живописного еще неделю назад хутора не осталось и следа.

По проселку шли солдаты, обозы, двигалась техника. Для большинства молодых солдат это был первый освобожденный населенный пункт. На перепавшей взрывами земле, среди разбросанных останков строений, разбитой обгорелой техники и множества трупов их встречали пожилая женщина и мальчик-подросток. Кто-то из солдат постелил перед ними на земле обрывок маскировочной ткани и положил кусочек хлеба. Вскоре из продуктов выросла небольшая горка, но есть не могли. Голод почувствовали лишь через несколько дней, когда понемногу пришли в себя и привыкли не пугаться убитых.

На месте пасеки остались щепки да обломки рамок, а недалеко на ветке смородины, в ожидании помощи, висели роem уцелевшие пчелы...

Телочка

Летом 43-го военные предупредили население хутора, что вот-вот начнутся страшные бои. Олечку уговорили вернуться в Новоселовку и увести с собой телку. Вася взялся помочь. Он повел скотинку за поводок, а Оля хворостиной погоняла. В Новоселовке уже полно было войск. Оле с Васей они велели идти дальше. Пройдя километров десять, прибились к какому-то хутору за Подольхами. Вася пошел поискать хлеб и место для ночлега, Оля осталась на лугу выпасать скотину. И тут налетели немецкие самолеты. С первым разрывом бомбы телочка сорвалась и понеслась прочь. Оля за ней. Догнала она ее не скоро, поводка на телочке не было. В сумерках они долго бродили по логам и полям, пока девочка не нашла кусок веревки для ошейника. Напуганная бомбежкой телочка сначала не давала себя поймать, потом не хотела идти на поводке.

Хутор, в котором они расстались с Васей, был полностью сожжен. Даже спросить о нем было не у кого. Поплакав, пошла куда глаза глядят. Ночевала, прижавшись к телочке, в каком-то рву. Две недели питалась тем, что обмолачивала в подоле юбки поспевающие в полях колосья уцелевшей ржи. Зерна казались ей сладкими, как конфетки. А телочка в это время паслась. За время скитаний она успела так привязаться к девочке, что шла за ней даже без поводка.

Когда через неделю звуки боев начали стихать, войска пошли на Запад, а вслед за ними Оля. Когда достигли Прохоровки, снова попали под бомбежку, снова телка, испугавшись, сорвалась. На этот раз поймать ее помогли солдаты. Но, чем ближе к дому, тем сложнее было идти. Все поля за Прохоровкой, от Лутово до Сторожевского леса были прорезаны глубокими многокилометровыми траншеями, преодолеть которые телка не могла. Родной хутор был уже рядом, а они все бродили и бродили меж траншеями, как в лабиринте, и слезы отчаяния душили девочку. Под Сторожевым убитые лежали, как снопы, висели на кустах, на колючей проволоке.

Когда, наконец, прибыли на хутор, то на месте дома Олечка увидела огромную воронку. От хутора в сорок дворов осталось только две целых хаты и те без крыш. Потому, наверное, и не сгорели, что солому с них взрывами сбросило. Свои нашлись в чужой полуразрушенной хате «трехстенке», — четвертую стену вырвало снарядом.

Дома их уже считали пропавшими. Сколько было радости! Олечка, главная помощница в семье, жива и телочка, — будущая кормилица — тоже дома. Легли

поздно, а мама решила не спать, — сторожить телку. Когда уже стало светать, она зашла в дом погреться. Буквально через минуту кто-то из детей вышел пописать и увидел, что телки на месте нет. Тут уже все проснулись от крика матери:

— Телочку украли!

Кто-то видел, что ее увели наши бойцы, пришедшие за водой к стоявшему невдалеке колодцу. Мать знала, где лагерем в лесу стояли солдаты — и бегом туда.

— Как тебя зовут? — спросил ее бравого вида капитан.

— Александра.

— Так вот что, Шура, хватит голосить. Шкура уже в земле, а мясо в котле.

Когда гражданские власти к вам сюда вернуться, я лично распоряжусь, чтобы тебе выдали корову. Поняла? Вот и иди домой с богом.

Судьба

По телевизору шло очередное ток-шоу. Разумного вида люди горячо обсуждали вопрос: «Может ли утонуть тот, кому судьбой начертано повеситься?» Какая-то артистка пылко рассказывала, как она трижды в жизни находилась на краю гибели и осталась живой только потому, что «не судьба». Послушав, Павлик — он же Павел Павлович, начальник столярного цеха местного домостроительного комбината — телевизор выключил. Что такое Судьба, каждый мальчишка, переживший войну в наших краях, знал хорошо.

Когда летом 1942 года немцы, оставив хутор, двинулись на восток, народ обнаружил, что на большом поле, между прудом и дорогой на Правороть, поспевают озимая пшеница, посеянная колхозом еще до оккупации. Ее, конечно, надо бы убрать, но вот незадача: поле немцы заминировали. На сходе колхоза решили так: поле разделить на паи, а уж там каждый пусть убирает, как сможет.

Одиннадцатилетнему Павлику с братом Тимой выпало собирать пшеницу. Дело оказалось несложное: сначала надо найти проволочные растяжки, потом, не спеша, по растяжке не касаясь ее, дойти до мины. В каждый из двух торчащих из нее рожков — вставить по заранее припасенному гвоздю или по куску нарубленной проволоки. Теперь, если даже боек сработает, до взрывателя он не достанет. Его можно смело выкручивать, а растяжки сматывать в рулоны.

Ценными трофеями, которые, собственно говоря, и привлекали мальчишек, являлись блестящие шарики, что были внутри мин, проволока, и самое ценное — взрыватели. Их взрывали торжественно, привязав к колышку и дергая за вставленную на место проволоку.

Братья уже укладывали трофеи, когда подошел сосед по наделу Николай. Спросил, как надо разминировать. Братья были знатоками своего дела, объяснили все досконально, но тот, видимо, чего-то недопонял, и первая же мина рванула прямо у него в руках в десяти шагах от братьев.

Упали на землю, было слышно, как сыплются шарики. Потом встали, осмотрелись. Оба целы. Подошли к Николаю, — он был бледен и перепуган, но тоже цел. То, что все трое остались живы — было чудом. А делянка Николая, как и часть других, так и осталась неубранной.

В войну и сразу после нее, «минерами» были все мальчишки от пяти до восемнадцати лет, потому и в живых их осталось на хуторе только треть и то, — кто без пальцев, кто без рук, кто без глаз. До сих пор в памяти Павлика сохранилась страшная картина тех лет.

Солнечный день, свекловичницы привычно переругиваясь, прорывают всходы, и вдруг, в ближайшем перелеске взрыв. В небе воют осколки, а женщины, побросав тяпки, бегут наперегонки к перелеску с одной мыслью: «Чьи сегодня?» А там, у воронки трое или четверо мальчиков. Старшие, как правило, наповал, а меньшие, их близко к «делу» не допускали, — чаще ранены.

В сорок третьем году, летом, перед наступлением, на хуторе стояли наши войска. Павлик с соседом Лешкой в обеденный перерыв пасли в логу своих коров. Вообще-то коровы были мобилизованы на колхозные работы, на них пахали и впрягали в телеги вместо лошадей. Пасли их до работы и после. Но Лешкина корова была стельная, приближался срок телиться и ее от работ освободили. Обед заканчивался, и Лешка начал свою корову отделять от стада. Пастухи стояли в 10 метрах от коровы, когда она наступила на противотанковую мину. На глазах Павлика корову разорвало пополам так, что передняя ее часть полетела влево, а задняя вправо. Весь черный Лешка стал подниматься с земли.

— Ребята, я живой? Не вижу ничего...

Тут было уже не до коров. Лешку взяли под руки и повели к хутору. На пути оказался военный лазарет. Один глаз спасти не удалось, другой потом немного видел.

Павлик с Женькой на этот раз отделались испугом.

А осенью — тиф. В Мартыновой хате был лазарет, туда свозили тифозных. Отец был председателем колхоза и велел Павлику со старшим братом Митей запрячь в телегу свою корову и съездить в лес за дровами для лазарета. Дров ребята привезли, но Павлик в лазарете заразился и вскоре слег.

— Это он в школу не хочет идти, — сказал Митя.

Но школа была ни при чем. В тот же день к вечеру Павлик впал в кому. Из лекарств были только парное молоко да довоенный мед, который до прихода немцев зарыли в саду и отыскивали случайно, когда стали под зиму копать огород. Медом с молоком смачивали кусочек марли и клали больному в рот. За время, пока он лежал, на кладбище появилось три десятка новых могил — тиф не знал пощады. Очнулся Павлик только через два месяца. В кухне, где стоял его топчан, никого не было, а из соседней комнаты доносился разговор. Павлик пытался звать, но от слабости голоса не было. Тогда решил идти, но тут же грохнул на пол. На шум сбежались все.

— Ты зачем упал? — спросил Митя.

— Я к вам хотел, — еле слышно прошептал Павлик.

Уже через неделю отвели Павлика в школу. Первое время он не различал надписи на доске, все сливалось. Потом стало проясняться, буквы стал видеть, учился заново говорить, писать, считать. Долго не слушалась одна нога, ходил с костыльником.

Вышел он как-то во двор полюбоваться выпавшим снегом, а сестра Нюра в этот день ездила на корове в Прохоровку за удобрениями для колхоза. Павлик слепил снежок и захотел проверить свою былую меткость. Лучшей мишени, чем

белое пятно на лбу коровы, он не нашел. Бросок оказался точным, но увернуться от коровы сил не хватило. Вмяла его корова своим рогатым лбом в сугроб, и если бы не палка в руках у Нюры, неизвестно чем бы все закончилось.

А ранней весной с другом Женькой пасли за огородами телок. Согревались «кадиллом». В большой железной банке пробивали штыком частые дыры и привязывали, как ручку, кусок проволоки. В банке зажигали сухой бурьян, на который укладывали кизяк. Брала за конец проволоки и раскручивали как кадило над головой, пока она не становилась красной от жара. Ее ставили на землю и грели руки. Однажды к ним на огонек подошел сосед Илюшка, держа в руках шрапнельный снаряд. Головку со взрывателем он уже вывернул, а свинцовые шарики, — главный трофей, внутри светились, но не высыпались из-за какой-то динамитной пленки.

— Ребята, — сказал Илюшка, — дайте-ка огоньку мне эту пленку выжечь, — шарики не высыпаются...

Павлик сунул в «кадило» сухую палку, а когда она загорелась, протянул Илюшке. Только он поднес огонь к снаряду, как раздался оглушительный взрыв. Все попадали... Когда пришли в себя, начали осматриваться. Руки целы, ноги целы, голова, хоть и шумит, но на месте. У Илюшки в крови черное осмоленное лицо и та рука, в которой он держал огонь. Невдалеке валялся дымящийся снаряд. К счастью, его не разорвало, он просто выплюнул все свое содержимое, разорвав у «минера» палец, выбив глаз, и оторвав козырек с картуза.

Судьба... Можно сказать, она берегла Павлика. В 1944 году в колхоз пришли трактора, начали пахать. Мать Павлика готовила обеды, а он разносил трактористам. За колхозным садом пахал Праворотский Илюха, он был сильно близоруким — на фронт не попал. Голодный тракторист не ждал обеда и Павлику очень был рад. Не отходя от работающей машины сел, опустив ноги в борозду, и начал быстро уплетать еду. Закончив трапезу, встал и пошел к инструментальному ящику — «бардачку».

— Смотри, какая хреновина, — Илюха протянул Павлику немецкую гранату на длинной деревянной ручке. А это, интересно, что такое? — спросил он, выдергивая из нее белое колечко с красивым шнурочком.

— Бросай!!! — закричал Павлик и кинулся в борозду.

Илюха ничего не понял, но на всякий случай сунул гранату за тракторное колесо.

Взрывом разметало только стоящие за трактором ведра, да побило банки с машинным маслом. Ни тракториста, ни Павлика не поцарапало, а трактор даже не заглох.

— Это хорошо, что ты оказался, — говорил, переводя дыхание, Илюха, — а то я несколько раз сам попробовать собирался, да все некогда было. Если бы один попробовал, обед точно сэкономил бы...

Соловьи для Арины

Братскую могилу у нас на хуторе весной сорок второго вырыли немцы. Правда, не сами — пригнали военнопленных. Всю зиму с сорок первого на сорок второй год хутор находился во фронтовой полосе. Несколько раз наши солдаты пытались отбить его у немцев, но все атаки захлебывались под пулеметным огнем. А весной из снега начали вытаивать убитые бойцы, трупы животных. Ну, а самым массовым оказалось захоронение лета сорок третьего года, когда во время танкового сражения хутор переходил несколько раз из рук в руки.

Одним из первых в освобожденный хутор вернулся тогда мой дед Павел Николаевич Кривчиков. Только на его огороде лежало двадцать пять убитых. Указаний он не стал дожидаться, вырыл в конце огорода могилу, похоронил погибших, поставил столбик и прибил к нему звезду. Документы потом передал властям, но оставил себе список похороненных с домашними адресами. Через какое-то время он отправил письма родственникам всех погибших, но ответ получил только от одного бойца, который сообщил, что жив, а документы оказались в шинели, которой он укрыл раненого друга...

Стало традицией 12 июля в день святых Петра и Павла организовывать у могилы поминальный стол. Но с каждым годом земляков к столу приходит все меньше и меньше. И только соловьи продолжают ежегодно здесь гнездиться и выводить потомство. А над братской могилкой, в паузах между их трелями, звенит для меня, как бы растворенная в воздухе, известная песня Владимира Высоцкого:

На братских могилах не ставят крестов
И вдовы на них не рыдают...

И правда ведь — не было возле могилы заплаканных вдов. Это знали мы точно. Из окон дома моих родителей братская могила была видна. Каждой весной, когда расцветали подснежники, мы обязательно шли в лес, и каждый набирал по четыре букетика. Первый оставляли на гражданском кладбище, которое ближе к лесу, — раскладывая цветы на могилки родных и близких. Второй относили тем солдатам, что покоились у нас в огороде, третий — на главную братскую могилу и только четвертый несли домой маме.

Солдатских вдов только на нашем мелком хуторе оказалось семнадцать. Разные женщины, разные, иногда невероятные судьбы. Общим было лишь то, что почти все они были в свое время засватаны в окрестных селах — Правороти, Жимолостном, Красном. На хуторе им пели величальные свадебные песни, в которых обязательно называли по отчеству, после чего все хуторяне без исключения продолжали невесток только так и величать. Я тоже звал их при жизни по отчествам: Кизилова Александра Ивановна, Кизилова Фекла Сергеевна, Король Александра Ивановна, Кривчикова Александра Илларионовна, Кривчикова Евдокия Федотьевна, Кривчикова Ксения Васильевна, Кривчикова Мария Ивановна, Кривчикова Мария Петровна, Кривчикова Мария Трифоновна, Кривчикова Олимпиада Игнатьевна, Кривчикова Федора Стефановна, Смородина Федора Ивановна, Шеховцова Александра Ивановна, Шеховцова

Соломея Васильевна, Шеховцова Федора Федоровна, Шеховцова Ксения Петровна, Чернова Арина Фроловна. Четыре раза перекатывался через них фронт, жгло их и голодом и холодом, возвращались на пепелище, иногда вслед за «похоронкой» на мужа теряли последнее — детей, погибших, игравших с бомбами или со снарядами, которыми нашпигована была земля после войны...

Только в семидесятые годы, когда стали приезжать на братскую могилу уже взрослые дети погибших солдат, пролились над ней первые слезы...

Вот если бы кто-нибудь освободил наших вдов от рабских колхозных работ, детей и хозяйства, они, наверняка, пошли бы пешком, за сотни километров, без средств — к родным, милым сердцу могилам и там, конечно, дали бы волю слезам...

Я не художник, но если бы меня спросили, какой памятник должен стоять на нашей братской могиле (его пока нет), я бы предложил установить обыкновенный, плохо отесанный деревянный столб, на котором должна быть подковными гвоздями прибита грубо вырубленная из развернутой гильзы от снаряда крупного калибра пятиконечная звезда. А с противоположной, западной стороны могилы должна стоять склонившаяся в рыдании вдова с держащимися за юбку детьми — символ всех женщин, не сумевших при жизни сделать то, что были обязаны «перед Богом и собою»...

В 1987 году зима была необыкновенно снежная, морозная и долгая. На Пасху, чтобы пройти к могилам, рыли в снегу траншеи, а Пасха в тот год была не ранняя. Я после долгого отсутствия в конце апреля приехал на хутор. Ярко светило солнце, блестел оплавленный снег, запахи детства — хлеба и припека — нахлынули на меня и я почувствовал вдруг необыкновенную радость от возвращения в родные места. И тут — как будто не несколько лет прошло, а только вчера я отлучился ненадолго — услышал я, как кто-то зовет меня со двора. То была Арина — солдатская вдова, вырастившая без мужа двух сыновей, Бориса и Ивана, и даже успевшая последнего похоронить.

Я остановился.

Бабушка Арина стояла на крыльце и оглядывала снега.

— Подойди, Коля, я хочу тебе что-то сказать.

Я перебрался через сугроб и лужу талой воды, протиснулся во вмерзшую в лед калитку.

— Коля, я вот что хотела у тебя спросить, — серьезно сказала Арина, — как ты думаешь, в этом году соловьи прилетят?

Я рассмеялся...

Мы поняли друг друга и обнялись.

В душе ли, в сердце ли у нее гнездились эти соловьи? И что они значили в ее жизни? Теперь никто не узнает. Но в ту весну для Арины они прилетали.

Нина Северикова

Философ в битве за Москву

Среди сотен тысяч добровольцев, объединенных желанием отстоять страну в годину великого бедствия, был Федор Игнатьевич Хасхачих, декан философского факультета МИФЛИ, затем первый декан философского факультета МГУ. В грозные для Москвы дни он возглавил в Сокольниках Первый истребительный батальон, состоявший из студентов и преподавателей Московского института философии и литературы имени Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ), боевой задачей которых было тушение пожаров от зажигательных бомб на окружной железной дороге — особо охраняемом участке столицы.

В его личном деле есть запись, датированная 1940 годом, о предоставленной ему отсрочке «от призыва в военное время до особого распоряжения», однако ученый отказался от этой возможности. Да и позже, в 1942 году, когда был введен в действие Указ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина о возвращении с фронтов людей, имеющих ученую степень, для продолжения научной и преподавательской деятельности, Ф.И. Хасхачих, которому предлагали в Москве ответственную должность, твердо ответил: «Пока моя Родина в опасности, мое место на фронте, я не имею права покинуть своих боевых друзей». В то время он был уже известным ученым: его книга «Курс диалектического и исторического материализма», изданная еще в 1940 году, пользовалась большим спросом среди студентов и преподавателей общественных наук.

Некоторые ценные факты биографии ученого удалось восполнить благодаря рассказам дочери философа-воина Леры Федоровны о своем отце. Федор Игнатьевич Хасхачих родился 21 марта 1907 года в Приазовье — в селе Чермалык Мариупольского уезда (ныне Приморский район Донецкой области). Семья греческого переселенца крестьянина-бедняка была многодетной, и после смерти кормильца двенадцатилетнему Федору пришлось не только ходить за плугом и выполнять разную крестьянскую работу, но и нянчить младших братьев и сестер.

С ранних лет, отличаясь особой любознательностью, он пристрастился к чтению. Мать, Мария Евстафиевна, учила своих детей любить людей и дорожить их дружбой, прививала высокие нравственные качества, но в школу Федор Хасхачих пошел только после Гражданской войны — и сразу в пятый класс. Учителя вспоминают, что умный, пылливый ученик выделялся из

Северикова Нина Михайловна — кандидат философских наук. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

одноклассников своей начитанностью, серьезным отношением к учебе, самостоятельностью в суждениях и огромным интересом к истории, литературе и поэзии.

Семилетку он закончил в 1924 году и поступил на второй курс Мариупольского педагогического техникума; затем юношу направили в Москву для получения высшего образования. Будучи студентом факультета советского права Московского государственного университета и приезжая на каникулы в родное село, он выступал перед земляками с лекциями и докладами, разъясняя политику Советского государства: только объединенными усилиями беднота может выбиться из состояния нищеты и упадка. Вместе со своим братом Дмитрием (впоследствии замученным в застенках гестапо) явился организатором первой в области сельскохозяйственной артели под названием «Начало». Сохранился протокол № 1 Организационного собрания крестьян села Чемарлык: Ф.И. Хасхачих сделал доклад о политике партии в области коллективизации, а его старшего брата избрали тогда председателем артели. Впоследствии эта артель выросла в один из крупнейших передовых колхозов Украины — «Гигант».

Одновременно с учебой в МГУ Ф.И. Хасхачих вел занятия по диалектическому материализму в Техникуме изобразительных искусств и Механико-машиностроительном институте имени Н.Э. Баумана. После окончания МГУ в 1931 году он был направлен на работу в Ростов-на-Дону. Молодой ученый возглавил кафедру диалектического и исторического материализма в университете, а позже — в Новочеркасском политехническом институте и в Институте зерна. В 1937 году он успешно закончил аспирантуру философского факультета в Москве и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Познаваемость мира и его закономерности». К своим тридцати годам он стал уже признанным специалистом в области теории познания, ведущим лектором Института Красной профессуры и Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б); он читал также курс диалектического и исторического материализма студентам Московского университета; в 1938 году он был назначен деканом философского факультета МИФЛИ.

Основной научный интерес ученого сосредотачивался на проблеме теории познания. На эту тему он пишет докторскую диссертацию, защитить которую помешала Великая Отечественная. Подготовленные к изданию рукописи книг Федора Игнатьевича были опубликованы уже после войны. Ценность его философских работ неоспорима: с 1946 года они издавались во многих странах Европы, переведены на 28 языков мира и стали достойным памятником выдающемуся ученому, отдавшему жизнь в борьбе против фашизма. А на философском факультете МГУ они использовались в те годы в качестве учебных пособий.

Федор Игнатьевич, человек в высшей степени скромный и чуткий, пользовался в коллективе огромным авторитетом и любовью. Недаром трудящиеся Сокольнического района Москвы избрали его депутатом в районный Совет. Он отдавал немало сил улучшению условий жизни рабочих, многодетных семей, заботился о летнем отдыхе детей; встречался с избирателями. В самом начале войны, будучи ополченцем, он продолжал выполнять возложенные на него депутатские обязанности: прежде всего заботился о своевременной эвакуации из Москвы малолетних детей. А осенью 1941 года истребительный батальон под его

руководством влился в регулярную армию и участвовал в боях в московской зоне обороны.

В начале 1942 соединение войск, в котором служил Ф.И. Хасхачих, было направлено на Калининский фронт под Ржев. В тяжелые дни боев на Ржевском плацдарме он проявил себя как отважный воин. За короткое время прошел путь от рядового солдата до майора: его ценили за высокие качества политработника и волевого офицера Красной армии, обладавшего навыками не только убеждать, но и умело командовать.

Вот лишь один из военных эпизодов. В февральских боях 1942 года 158-я стрелковая дивизия, частью которой стал истребительный батальон Ф.И. Хасхачих, прямо с марша предприняла наступление на мощно укрепленный пункт врага — Холмец. В ожесточенных боях погибли один за другим командир и комиссар 875-го полка, смертельно был ранен начальник штаба. Однако полк продолжал сражаться, получая приказы политработника Ф.И. Хасхачих, взявшего командование полком на себя. Это никого не удивляло: его мужество и умение воевать ценили не только студенты-мифлийцы, сражавшиеся рядом со своим деканом, но и другие бойцы, безгранично веря ему и беспрекословно выполняя его распоряжения.

Дивизионная газета «За Родину» неоднократно отмечала бесстрашие и храбрость воина-ученого, который уже после первых боев в числе немногих политработников дивизии был награжден боевой медалью «За отвагу». Вскоре он стал известен как один из лучших пропагандистов 39-й армии. Он вел огромную агитационную, политическую и воспитательную работу среди личного состава объединения: выступал с докладами о положении на фронтах Великой Отечественной войны, о фашистских зверствах и реакционной природе фашизма. В землянках и окопах, в строю и на привале разъяснял смысл и цели борьбы против гитлеровцев, вселяя уверенность в победу, поднимая моральный дух бойцов; ходил в атаку вместе с ними — тяготы фронтовой жизни были общими.

В дни тяжелых боев он поддерживал своих товарищей. Вот строки из письма Федора Игнатьевича, адресованные раненному бойцу: «Кровь, пролитая вами и нашими товарищами, не пройдет даром. Поле победы жизнь будет еще лучше и прекрасней». Самому Ф.И. Хасхачих не довелось дожить до этих дней, он погиб на боевом посту — на передовой, выступая перед бойцами с докладом о 25-й годовщине Великой Октябрьской революции. Вражеский снаряд оборвал жизнь талантливого ученого и выдающегося пропагандиста.

Память о Федоре Игнатьевиче Хасхачих увековечена на мемориальной доске «Вечной славы» философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, где первым значится его имя.